

СЕМЬЯ

(Сказ)

Свята икона, вот сижу и думаю, с которого края начинать, потому как житуха наша жалостливая и никчемная, а жить-то надо, хоть новой раз и взбрыкнешь: «Да лучше бы Господь прибрал, чем все это видеть и пропускать, а сердце не каменное». Как-то посередь улицы обмер я, завалился, медичку привезли, отдула, в район отправила. А там нашего брата в каждой камере по шесть, сестричка забежит, таблетки на стол кинет и гумажки с фамилией, а я глянул через увеличительные очки, в которых за пенсию расписываюсь: бог ты мой, таблетки-то все одинаки. Сижу на койке и кумекаю: тот с грыжей, этот с животом пособиться не может, у меня кровь в башку кидаются, аж в глазах темно. Не стал ничего говорить, собрался и вечерком с автобусом домой.

Живу я девяносто лет, а сны вижу цветастые, радугу вижу и птиц райских. Проснусь, и до того на душе светло и темно, что лежу и не шевельнусь, знаю эту причину: как только ворохнешься — сразу все виденья пропадут, и окажешься один на один со старостью. Я, грешным делом, стариком себя не осознаю, ну,

знамо дело, и сила не та, и работы той, что раньше робил, уже не сдюжить, опять же, как венчанную свою проводил, так к женскому полу никакого стремления. А речи про меня разные в деревне, будто знаю травы и заговоры от слабины мужщинской, даже бабы стучались вечерней порой: «Пропусти, сил нет, чем хошь одарю». Все как есть правда: и травы знаю, и другие разные приспособы, но только при большой нужде помогал семьям. Зачем мужику дурь нагонять, если рядом с ним желанная бабочка и близко к сердцу? Чего про меж их бывает, каждый должен испытать, иначе и не жил на свете. Сам через то прошел, помню, а в чужой кровати и после взвару того не достигнешь. Был у нас в деревне бык-производитель, водили его по дворам, исполнял свою службу, вот так и мужик иной — единожды в том краю ночует, потом в другом.

Ну, полно об этом. Когда новая жизнь случилась, флаги снимали, партийных с должностей поперли, кто-то сказал, что вот теперь коммунизм и наступит. Я, грешным делом, столько разворотов за свою жизнь испытал и только одно усвоил: после, как вверху начальство новое сядет, добра мужику ждать неоткуда. Так и тут.

Живет со мной рядом в приличном доме, еще при колхозе ставили, хорошая семья. Нет, не могу притворяться: жила та семья. Мужчина, хозяин то есть, дальней родней мне по старухе приходился, в колхозе механиком был, Михаилом Гавриловичем звали. Ну, по мне просто Михаил, да и никаких возвеличиваний. И он ко мне славно относился, вообще с народом был запросто. А когда все ломаться-то начало, колхозишко и потянули, кто сколько сможет. Я сам слышал, как баба евоная во дворе чистила муженька, что даже трактористы на двоих один трактор упрятали, а ты начальник, механик, ржавого болта не принес. А он молчит, но и она не со зла, хотя, надо сказать: женщина она резкая, прямая. Да и сама из себя бабочка — есть на что глянуть. Михаил, видно, души в ней не чаял, ну и приносила она в пятилетку по паре ребят. К тому времени у них уж пятеро было.

Жену его Тамарой зовут, по отчеству Ивановна, дело известное, школу кое-как закончила, а тут Мишка из армии объявился, в первую же осень окрутил девку, свадебку изладили, она на ферму дояркой. И ведь зажили. Колхоз, вот хай его — хвали, дом им поставил, правда, и самим пришлось повкалывать, день на колхоз, полночи на дом. Переходить стали, гляжу — не то творят, нарушают всякий обычай и порядок от отцов. В дом следно вперед кошку пускать, а они натопырились малую дочку на порог поставить. И ведь не подскажет никто, то ли позабыли напрочь, то ли на ребенка залюбовались. Оно и правда, шибко славно, когда первенец твой своей ногой в новый дом входит, но без кошки никак! Останавливаю церемонию, перелажу через плетень, свою кошку за пазухой схоронил. Выказался:

— Что же вы, — говорю, — робята, от законов и обычаев отцов и деков отступаете? Неладно это. Вот вам кошка, пусть дите ее вперед толкнет за порожек, а потом и сама двинется.

Речи-то распеваю, а сам с собой совсем другое говорю негласно: «Дедушко-суседушко, коли ты пришел к дому, тогда входи хозяином, да знак дай, чтобы я понял, что ты при месте».

А сам смотрю да слушаю, и только девочку с кошкой обрядили, колыхнулася занавеска у дверей и половица скрипнула, да так знатко, что сосед засмеялся:

— Прослабил, Михаил, тележку при входе, все нервы вытянет, по ней взад-вперед десятки раз пробежите за день.

Промолчал хозяин, он вообще редко в какие разговоры вступал, только если сам начал. А так спрошу у него что-нибудь, плечами пожмет, либо головой кивнет. Вот и гадай, что он тебе просигналил.

Ладно жить начали, толково, баба его деньгами руководила, никуда копейка не выскользнет. Все у нее рассчитано, что на ребят купить, что мужу и себе тоже. На третью осень выпросился Михаил у председателя на комбайн, хлеб надурил небывалый, я сам в середине августа хаживал в первые лесочки, где начинались поля со пшеницей. С малых лет учил меня дед Панфила слушать поле. Это, брат, не всякий может, да не каждому оно и надо. Присядешь под ветерок, припухнешь, здышишь легонько, только сердечко и колотится. Вот, подобно тому, ни ветерка, воздух горячий стеной стоит над хлебом, дозреват его, сушит. Пройдет какое-то время, то ли природа тебе поверит, то ли сам ты во все это живое всей душой войдешь, и тогда услышишь, как колос с колосом целуются, перешептываются. И вроде даже зернышки, если в колосе высохли, позванивают. Такая музыка, аж слеза упадет... Взял Михаил комбайн не самый добрый, чтобы мужиков не обижать, но за неделю до болтика перебрал, уплотнители поставил на стыках шнеков, в молотилку, чтобы утечки зерна не было, и в поле. Не знаю, вроде за всю уборку пару раз домой приезжал, в баньке помыться, переодеться да с ребятней повозиться с полчаса. А чуть свет — подходит машина, кончилась медовая ночька.

Сам слышал, сидючи у себя в ограде, как две бабенки-соседки после управы подтянулись к Тамаре, на бревнышках расположились, вздыхают. «Неделю Веня не бывал, ждала в баню, а у него комбайн изломался, вместо бани да чистой постели всю ночь с железом». Вторая ту же тоску выводит: «Гляжу — бегом бежит к дому, у меня ретиво остановилось. А он заскочил в мастерскую, я туда, на шею ему кинулась, он руки-то мои разомкнул, весь обвиноватился: «Вот за подшипником приехал, у Генки Рамазанки шкив вариатора заклинило». И вся любовь, а я потом до свету уснуть не могла». Тут Тамара вступила: «Чудно все устроено, в девках жили до двадцати лет, и хоть бы хны, если никто не доведет до дрожи, а тут неделя прошла, и терпежа нет. Девки, я прошлой ночью ребят уложила, на велик и к полевому стану. Роса уж пала, комбайны заглушили, мужиков машиной привезли. Не пересказать, как своего отыскивала, угадала, что до ветру пошел, выцепила. Ой, девки, он поначалу испугался, думал, дома что, а потом на руки меня и в копну соломы. Утром вышла на ограду: господи, сколько же соломы я с себя вытрясла, как раз свиньям на подстилку». И хохочут все, так добросердечно да радостно, что сами по себе мои младые лета всплыли, сладкой тоской душа окатилась, да и на том спасибочко.

За ту уборку получил Михаил мотоцикл «Урал», за свои деньги, понятно, но право такое надо было заработать. И Тамара его тоже в передовики вышла, правление ей за сохранность всех народившихся телят трех месячных бычков выделило в премию. Видел я, какая радость была в доме. Уместно ли тут признать, что к тому времени остался я бобылем. Жену схоронил последней из семьи, а вперед сына из армии в цинке привезли, второй по пьянке утонул на рыбалке, дочь своей семьей жила, при родах ничего наши коновалы не могли сделать, и ее, и дите уханькали. Так что эта картинка через плетень и была моим светлым местом. Вечером щеплял Михаил тележку к мотоциклу, прежде ребят по улочке про-

катит, а потом с Тамарой в лески, двумя литовками вмиг копешку сколотят, в тележке положом прикроют и веревкой свяжут, чтоб не раздуло. Это телятятишкам на весь день, а остатки на сарай, ветром охватит да солнышко пару раз глянет — сухое сенцо, можно в зиму.

Когда колхоз распустили, гляжу на соседа — другой человек. Он свою работу знал с утра до ночи, а тут никому не нужен. Бывший председатель свою банду сколотил, позвал Михаила Гавриловича вместо инженера, тот радехонек, даже вроде на мордашку повеселел. Посеяли, хозяин стол в поле выставил, по бутылке на брата. Михаил к нему, мол, так и так, вино не пью, ты мне деньгами в счет отработанного. А тот отвечает: «Вот твои деньги, только всходят, как обмолотим да продадим, тогда и карманы дополнительно можно пришивать, озолотимся все». Михаил, ребята скзывали, молча кивнул, сел на мотоцикл и домой.

Первыми доярки шум подняли: почему ни гектара кукурузы на силос не посеяли, трав никаких на сенаж. А дольше и того хуже: травы дуром дурят, а косить никто не собирается. Приперли председателя, он и вылепил: молоко дешевое, себе в убыток, проще под угол слить. Так что коров осенью всех на колбасу. Бабы в голос, а он пал в легковушку и газу.

Мы хоть и рядышком жили, а сообщались реденько, здравствуй и прощай, подобно тому. Какие у меня к нему разговоры? Я водочку уважаю, перед каждым аппетитом, пока старуха жива была, рюмку принимал — он и в праздники в рот не берет. Я табак смолот от самой Сталинградской битвы, теперь на самосад перешел, трубку вырезал из корня вишни, крадчи от бабки сделал заготовку. Потом всю зиму вошкался, ходил в мастерскую, где газовая сварка, соседа же и попросил, чтобы он трубку слабым огнем обработал. Курю. Я балагур, люблю язык почесать, а от него слова не дожدهшься, выслушал, улыбнулся, кивнул и ушел. Ну, я уж говорил про то.

А парень он был славный. Телом крепок, новой раз специально сяду и люблюсь, как он робит во дворе. Все в руках играют. Рубаху скинет, штаны закатат до колен и грядку навоза за час перекидат, выправит, тряпичей закинет. Тамара выйдет по своим делам из летней кухни, сама в легоньком халатике, считай, все на виду, тазик поставит на полочку в сарае, подойдет к мужу и со спины прижмется. Дело прошлое, по себе знаю, на мужика это зверски действуют. А Михаил развернет свою красавицу, поцелует в шейку и за свои дела. Я так понимаю, что бабочку это обижало, не затем она выходила. Да и орда вся на озере купается. Пошла, и тазик оставила. Ну, это дело семейное, позже разберутся.

Опять про Михаила. Смотрел я на старые фотокарточки, старуха моя была из достатка взята, торговлишкой промышляли и предки, и папаша успел, пока советская власть не прихлопнула. Тем и спасся, что магазин вместе с товаром благословил, да деньгами не знамо, сколько. Моя после похорон батюшки и приволокла толстенные книжки, а в них карточки наклеены. Понятно, что я акромя тестя с тещей никого не знал, но десе распахну, пыль сдую и гляжу сквозь очки. Долго не мог в толк взять, чего мне от их надо, а потом доперло: не похожи оне на нас, то исть, не только одежей, это само собой, а совсем иные, не из мира сего. Лица ихние почти как на иконах: взгляд самостоятельный, лица светлые, без улыбок, а радостные. Я так себе сфрумулировал: счастливые оне, вот так. Наши тоже порой лыбятся на полгазетки, а души нет, одна фотокарточка. Это я к тому, что лицо у Михаила было достойное, благообразное, на его смотреть хотелось.

Осенью хлеб убрали, на колхозной еще сушилке очистили и просушили, и в одну ночь колонна КАМАЗов с прицепами выдернула все до зернышка на элеватор. Сказывают, по три или четыре рейса сделали. И председатель наш как сквозь землю провалился, хотя добрые люди заметили, что еще недели за две большая машина к нему в ограду запяtilась, утром потемну ушла с бараклом, а семью на легковой сам увез. Мужики закидались: робыли-то за что? Все районное начальство прошли, нет никакой помощи, только смеются.

Вижу я, что мой Михаил Гаврилович совсем с лица спал, и надо же было такому совпасть, что мужики из района вернулись ни с чем, а бабы их встречают страшной новостью: коровушек на длинных скотовозах увезли в город. Деревня как-то присела вся, криков нет, переговариваются втихушку, как при покойнике. Жутковато. Михаил за ворота вышел, мне кивнул, стоит. Тамара выскочила, он, видно, от разговора и ушел. Встала рядом:

— Что же вы, мужики, отцы да мужья, что же вы допустили до такого? Чем жить будем, вы про это думали? У меня последняя десятка от полочки. Миша, скажи хоть что!

Он повернулся и с виноватой улыбкой на нее посмотрел. Я собрал кiset и с глаз долой, тут не моего ума дела решаются.

А утром рев, да такой, что шкура оширшевила: Михаил Гаврилович повесился в вишневом саду. Записку, говорят, в кармане нашли, что так жить не хочет, перед детьми стыдно, что куска хлеба не сможет им дать. Вот так решил свою долю.

Похоронили, горячий обед отвели в столовой, Тамару с ребятишками мужики на машине домой привезли. Я видел, она, как уточка, впереди, а пятеро ребят следом, старшему пятнадцать, младшей три. А дня через два она ко мне в калитку стучит, выхожу.

— Дедушка Мирон, пойдем к нам, помоги с инструментом разобраться. Интересуюсь, что за инструмент. Она показывает литовки, грабли, вилы. Спрашиваю:

— Ты не на покос ли собралась?

Спокойно отвечает:

— На покос и есть. У меня корова с весенним теленком да пяток овец. Если лишусь — с голоду помрем.

Слеза меня смутила, буркнул, что все забираю и к вечеру изготавлю. Литовки отбил, подправил, одну для Тамары, другую для парня, помене. В грабельцы пальцы крепкие вставил, пару вил пересадил на черенки потоньше. Вот и вся работа. Собрал в охалку, принес, а она с мотоциклом возится. Завела, бензин залила, всю снасть укрепила на тележке. Видно, рано собирается.

— Дед Мирон, ты за ребятишками посмотри, эти пусть играют, а малую хоть к себе бери.

Так и стали жить, как бы одним домом, я сено сгребать помогал, потом картошку вместе рыли, приехали какие-то азиаты, дешево, но купили. Я к старшему подошел, за рукав взял:

— Ежели у тебя к Аллаху своему вера есть, не обидь эту бабочку, муж повесился с горя, ему там красота, а у нее пятеро на руках. Заплати по-человечески, все равно в полете не будешь, а я за тебя перед нашим богом слово замолвлю.

Возымело, подошел, еще несколько бумажек отслонявил, подал Тамаре.

Смотрел я на нее и дивился: всю жизнь за спиной мужика жила, никакой работы домашней не знала, а случилось один на один с бедой великой схлестнуться, и откуда силы взялись, проснулась в ней русская баба, на которой в самые злые времена пахали и сеяли, которая коров весной подымала и на помоча подвешивала, которая кули с зерном ворочала на элеваторе для фронта и для победы. Не растратилась в сытное время, не изнежилась душа, не изломался характер. Мужик вот, Михаил Гаврилович, не совладал, порешил все разом. Верно, он и слабее был бабы своей, на нее оставил детушек своих, свой завтрашний день.

Одно время, в аккурат перед Пасхой, смутно мне стало, в грудях лота, голову то и дело теряю. С великим трудом спустился в подпол, там в глиняном горшке сложены все мои накопления, пенсия моя военная. Расход мой невелик, а зачем курковал — сам не знаю, и вот сгодилося. Поднял горшок, повынимал гумажки, завернул в тряпицу, полшубок старенький накинуд и пошел к соседям. Они за столом сидят всей семьей, праздник все-таки. Я Тамару попросил выйти в коридорчик, чтоб ребятишки не видели, тряпочку откинул и показал ей свой гостинец. Она было в слезы, но я возразил:

— Не смей! Ты бабочка разумная, сумеешь определиться, как быть.

Проводила она меня, а через время в дверь стукнула, зашла.

— Дедушка Мирон, скажи, верно ли я мыслю. Если к твоим деньгам... Дом хочу продать, мотоцикл, скотину всю и собрать все до кучи, да купить домик в городе. Там и работа есть, и учиться ребятишкам тоже, и техникум, и училище медицинское. Что ты мне скажешь?

А чего я мог сказать?

— Если, — говорю, — Тамара Ивановна, хватит капитала, то лучшего и не придумать. Но ты сперва съезди, присмотришь, к ценам приоришься, что и как. Да дом-то внимательно обследуй, чтобы не подпревший, у тебя переставлять некому. Да чтоб не у черта на куличках, и чтоб огородчик был.

Впервые за все время засмеялась моя Тамара.

— Ну, дедушка Мирон, у тебя столько хотелок, что наших денег не хватит.

Однако съездила, и домик нашла, и задаток у нотариуса оформила. Тут же северянам свой дом продали, те не скупилась, забрали вместе с коровой и овечками, по-крестьянски жить хотят.

Когда все имущество на машину сгрузили, всей семьей пришли ко мне. Я на ограду вышел, весна, в доброе время к новой жизни двинулась семья. Благословил и домой.

Два дни шел дождичек, бусил, как через сито, все напичал, успокоился, тучки спустились за гору, только солнышка еще нет. В открытую оконную створку сочится влажный прохладный воздух, его почти видно в натопленной комнате, он опускается вниз сразу за подоконником и растекается по влажному полу. Теплое будет лето...

ФОТО С ВЫСТАВКИ

Накануне шестидесятилетнего юбилея известного в области фотожурналиста Ивана Ивановича Шестакова департамент культуры, где он был своим человеком, предложил организовать выставку его работ, причем молодая дама, искусствовед картинной галереи, которой, видимо, было это дело поручено, начала с того, что попросила мастера вернуться в мо-

ладость, найди старые снимки и покажи сегодняшней избалованной публике жизнь черно-белую, давно минувшую.

— Поверьте, — ворковала она, — покосившийся забор, избышка на отшибе, старушка в платочке — это так мило, народ будет в восторге... У вас же есть архив?

Конечно, архив у Ивана Ивановича, как у всех уважающих себя ремесленников, был, и рулоны пленок со времен работы в районной газете были уложены, пронумерованы и описаны, хотя весьма приблизительно. Идея этой дамы, не то Инессы, не то Анжелы, сама по себе интересная, Шестаков и сам изредка залазил в кладовку, брал первую попавшуюся коробку и, разматывая рулон пленки, уходил в ту жизнь. Вот это он снимал доярок на летних выпасах у Яровского озера. Молодые, красивые, ядреные девки. А это опять доярки, только из Сладковского района, он вспомнил, что после съемок на ферме одна отвела его в сторону:

— Я на фотокарточках хорошо получаюсь, так что ругать не будешь. А ночевать ко мне пойдешь, я женщина свободная и чистая. К тому же у меня банька подтоплена.

И баньку помнил Шестаков, и женщину эту, мягкую и ласковую. Прокрутив на примитивном аппарате несколько пленок, Шестаков складывал рулоны и запечатывал прошлое в коробку. Теперь ему предстояло просмотреть все, отобрать самые интересные кадры и распечатать для комплектования экспозиции. Полная свобода в выборе темы или даже тем, предоставленная Инессой или Анжелой, не смущала Шестакова, он сразу сказал себе, что это будут портреты. Вспомнилась худенькая учительница из Тобольска, к которой ездил каждую неделю почти год подряд и всегда снимал. Молодые и счастливые, они играли в съемки, как настоящие модели, несколько пленок Шестаков аккуратно разрезал, сжег все, где он был снят, в чем мама родила, а ее даже никогда не распечатывал, хотя пару раз любовался в кладовке. Можно было бы выбрать исключительный портретик, помнился один кадр, когда она, умиротворенная, села на постели и даже не прикрыла своей наготы. У нее были девичьи остренькие груди, длинные волосы и лицо, освещенное мягким светом торшера, с улыбки усталости и гордости.

Шестаков оживился: у него же много женских портретов, на одной пленке и снимок на производстве, и вечерние портреты в домашней обстановке. Он даже удивился, сколько случаев вспомнил сразу, а если подумать... Впрочем, не фотоотчет о любовных похождениях должен он подготовить, а выставку, и тут не всякая история пригодится. Он съездил к ребятам в фотосалон и привез китайскую машинку для просмотра пленки с большим экраном да еще набор для ретуши, из которого ему могли потребоваться только тюбики темных тонов. Вечером достал несколько коробок, отобрал два десятка рулонов и включил аппарат. Перед ним в медленном параде стали проплывать люди, которых он уже давно забыл, лица интересные и не очень, некоторые что-то напоминали, но это было так давно, тридцать лет назад.

Тогда по указанию парторгов он снимал токарей и слесарей на заводах, доярок и трактористов в деревне, хотя иногда прорывалась интеллигенция, руководящий слой. Шестаков сильно обрадовался, поймав на пленке с партийной конференции интересный кадр с первым секретарем обкома. Тот в перерыве, видимо, спорил с кем-то, круто повернулся к фотографу, а тот уже нажал кнопку. Полуоткрытый рот со все еще вырывающимся звуком, тяжело сжатый кулак, суровый взгляд из-под лохма-

тых бровей — будто на митинге в защиту советской власти, хотя такого митинга не было.

На пленке с конференции по проблемам добычи нефти и газа с удивлением увидел лица отцов — основателей, тогда малоизвестных романтиков, потом генералов и даже министров. Для газеты пригодился лишь один групповой снимок, а тут столько портретов, сделанных в зале заседаний, в кулуарных разговорах и даже в буфете. Шестаков оживился: с каждой пленки он отбирал, по крайней мере, один кадр, заполнялась коробка с нужными пленками.

На третий день, разбирая самые ранние архивы и не ожидая ничего интересного, он едва не пропустил мелькнувшее на экране лицо, даже пропустил и уже смотрел следующие, когда бдительная память заставила остановиться. Что-то до боли знакомое, приятное и раздражающее, увидел он в этом кадре. Осторожно вернул его на место и задохнулся. С того самого дня, когда он вернулся из армии и с ожесточением сжег все ее фотографии, а потом случайно увидел кусок пленки с ее изображением и тоже хотел бросить в печку, но одумался, завернул в бумагу и положил в общую коробку, он не вскрывал этой пленки и не видел это лицо.

Нина Соколова приехала из далекого городка Буя после техникума, бухгалтером в совхоз. Ваня был первым парнем на деревне, окончил среднюю школу, служил совхозным комсоргом. Они встретились в первый же день, Ваня бросил всех своих подруг и весь упал к ногам Нины. Да и было к чему упасть. Высокая, плотная, лицо чистое и улыбчивое, ноги крепкие и длинные, настолько крепкие, что еще чуть — и нет красоты, а так — с ума можно сойти, глядя, как она идет, как стоит, как садится. Ваня долго не мог понять, в чем же тайна, оказалось, коленишко у нее такое аккуратное, что не высовывается, не выпирает, а словно нет его совсем. По этим ножкам все парни вздыхали, но Ваня успел, сходил к директору и выхлопотал для Нины однокомнатную квартирку в двухэтажном доме времен хрущевских агрогородков. Кровать, матрас с одеялом, два комплекта постельного белья, стол, стулья и даже электроплиту со склада завез. За выходные они с Ниной уборку сделали, все расставили по местам, уютная получилась квартирка...

Шестаков встал из-за стола, открыл холодильник, налил полный стакан водки. Давно не пил, сдерживался, потому что одним стаканом никогда не обходилось, а тут никакого сомнения, единым духом проглотил ледяную жидкость и сел на табурет. Парень он был не из робких, с девочками сходил быстро и так же скоро отпускал на свободу, оставляя после себя дурную славу подлеца и обманщика. И с Ниной все выходило славненько, ребята откровенно завидовали ему и издевательски хвалили ее колени: «Иван, она у тебя вся в ноги выросла». А Ваню как подменили, Нина в клубных играх и просто на людях с улыбкой его встречала, ни на шаг не отходила, хотя больше молчала, говорила только при необходимости. Ваню это смущало:

— Ты почему такая? Молчишь и улыбаешься, улыбаешься и молчишь.

— Тебе разве этого мало? Я же тебе улыбаюсь.

— Так можно подумать, что кому-то за спиной.

Она подходила к нему и прижималась всем телом, охватив шею руками так крепко, что грудки сжимались.

— Нина, я тебя люблю, сильно люблю.

— Это и хорошо, — спокойно говорила Нина. — Ведь я тебя тоже люблю.

— Мне же еще в армию идти, на три года.

— Ну и что? Придешь — мне двадцать, тебе двадцать два, самое время свадьбу играть.

Шестаков еще раз посмотрел на снимок, и сладкая теплота разлилась по телу. Это было в то воскресенье, когда она окончательно вселилась в квартирку. Купили бутылку вина и какие-то консервы, огурцы и помидоры Иван принес из дома, был уже конец августа. Пока он резал салат, Нина принялась открывать консервы, нож сорвался и порезал палец. Нина показала, где лежит бинт и картинно подставила палец под перевязку. Выпили за новоселье, и Иван взял фотоаппарат. Нина облокотилась на стол, подперла щечку перевязанным пальцем и с улыбкой смотрела в объектив. На ней была легкая кофточка в мелкую клетку с отложным воротничком, которую она надела после уборки. Иван чуть присел, нажал кнопку и покачнулся. Повторять съемку Нина отказалась, хотя Ваня предупредил: кадр не получится, всю прическу срежет. Нина улыбнулась:

— Вот я вся с прической, любуйся. А фотографий мы еще тысячу снимем.

С тысячей не получилось, началась уборка, комсорг Ваня только поздно ночью забегал в заветную квартирку, Нина ждала его, они жадно целовались, но, когда добирались до кровати. Нина с улыбкой упиралась руками в его грудь:

— Успокойся. Наслышана я, что ты привык к быстрым победам над девчонками. Не спорь, я не ревную. Просто хочу, чтобы у нас было по-другому.

— По-другому — это как? — смеялся Иван.

— Ты отслужишь, придешь, к тому времени тебя уж парторгом изберут, так что квартиру новую получим, нет, лучше дом построим. И я рожу тебе много ребятишек, имей в виду, наша порода плодовитая.

Когда парню пришла повестка в армию, вся жизнь — кувырком. Давали неделю на подготовку, дома собирали стол. Иван уговорил Нину сходить к нему домой, познакомиться с родителями.

— Ваня, как-то неловко. С какой стати явилась?

— Но на проводины все равно придешь.

— Так там и другие девчонки будут.

— Нина, прошу тебя, пойдём, я родителям уже все рассказал про наши планы.

Пришли, отец смущенно поздравствовался, мама приобняла девчонку:

— До этого ни одной не водил, стало быть, серьезно, а, рекрут?

Нина за стол садиться отказалась, поговорили о проводах, на том и простились.

Иван после вспоминал, что Нина стала вести себя с ним аккуратней, объятия и поцелуи стали прерываться в самый неподходящий момент, Нина смущалась, и на его недоумения отвечала робко, что так может далеко зайти.

Вечером на проводиных посидели недолго, молодежь потянулась в клуб, Иван и Нина ушли в квартиру. Он как сейчас помнит: они сели напротив друг друга, Ваня гладил ее колени, приподнимая короткую юбку, она целовала его шею и уши, отчего он повизгивал, как щенок.

— Нина, разбери кровать, я, правда, намотался сегодня.

Она сняла с него рубашку, сдернула с ног туфли.

— Все, ложись.

— А ты?

Она вышла на кухню и вернулась в халатике.

— Я к стенке лягу. А ты стульчик подставь, чтоб не упасть.

Они впервые были столь близки, робко трогали друг друга, целовали такие места, до которых никогда раньше не добирались. Ваня чувствовал, что под халатиком ничего больше нет, рука скользнула между пуговицек, и тугое девичье тело встрепенулось от неожиданности.

— Ванюша, ты правда меня любишь?

— Нина, ну, ты же видишь. Нина, милая... — Он коснулся замка своих брюк, но она перехватила руку.

— Ванюша, любимый, не надо. Я буду тебя ждать. Я очень буду скучать по тебе и ждать. Полежи, успокойся, скоро светать начнет, а в шесть машина в военкомат.

Шестаков помнит, что сразу уснул и очнулся только от поцелуя:

— Ванюша, пора.

Он вскочил. Нина неловко лежала.

— Ты не будешь вставать?

— Ваня, я не могу, ты спал на моем плече.

Иван встал перед кроватью на колени и стал осторожно разминать плечо, руку, без стеснения касаясь истока груди, Нина со слезами на глазах смотрела ему в лицо.

— Ванюша, я тебя никогда не забуду.

— Ладно, клятвы закончились, я побежал собираться, а ты подходи к машине.

— Нет, я буду в сторонке, не хочу разговоров.

Из кузова грузовика, занаряженного отвезти в военкомат пятерых призывников, Иван не видел никого, кроме Нины. Она улыбалась ему и легонько махала рукой.

В тот же вечер на Ишимский сборный пункт подали военный эшелон, идущий с востока. Сотню парней построили перед составом и дали команду размещаться. Уже через полчаса на столиках горой возвышалась домашняя едняя и ножики соскабливали водочные пробки. Иван лежал на верхней полке, вагон раскачивало, и он проваливался в сон, выныривая после громких выкриков подвыпивших ребят на нижних полках.

— А последний раз мне здорово повезло. Еду я на отцовском мотоцикле от тетки, смотрю, девица идет. Я остановился, приглашаю, она ни в какую. Глушу мотор. А девка — красавица, и тут и там — все при ней. Ноги, ребята, доложу я вам, как точеные. Присели, разговоры, идет с отделения в совхоз, бухгалтером там работает. Я посмелей, за талию, пониже — ничего, ну, тогда и понеслась.

— Врешь ты все.

— Да мне шибко надо! Нинкой ее зовут. Я хотел в гости завалиться, да мне подказали ребята, что ее фраер в начальниках ходит, лучше не связываться.

Иван плохо помнил, что было дальше. Потом рассказали ребята, что прыгнул с полки спокойно, без приглашения налил стакан водки, выпил, губы вытер и спросил:

— Говоришь, Ниной ее звали? А фамилию ты не спрашивал, точно, кто в таких случаях интересуется фамилией? А в какую деревню она ходила, не вспомнишь? В Травную? Когда это было? В августе? Так вот, я тот фраер и есть.

Говорили, что два раза успел ударить, челюсть сломал и скулу свортил. Того в Свердловске сняли в госпиталь, а Ваню начальник эшелона вызвал, допросил и посадил в отдельное купе как штрафника. Так до самого Арзамаса и ехал.

Писем Нине не писал, ее конверты не вскрывая, сжигал в мусорной урне, страшно страдал, пока на репетиции новогоднего представления не познакомился с девочкой Соней, которая оказалась дочерью начальника штаба, ученицей девятого класса. После первого же поцелуя подполковник вызвал в штаб и, поглаживая пистолет на столе, сказал спокойно, что дочка ему поведала о своей первой любви, но если солдат попытается переступить черту, он его застрелит. Просто и доходчиво. Так и целовались с Соней, пока она не уехала в Москву в университет.

Шестаков положил пленку в карман и утром пошел в салон. Долго за компьютером чистил снимок, снимая лишнее и оставляя признаки времени. Закончил поздно вечером, единственный оставшийся в ателье оператор отпечатал снимок третьего формата.

После открытия выставки Инесса — Анжела вбежала в кабинет директора, где мнительный Шестаков мучительно ждал первой реакции посетителей.

— Иван Иванович, вы, безусловно, великолепный мастер, но в фотографии «Моя любовь с большим пальчиком» откуда этот набор изобразительных средств: красота природы, простота обстановки, этот пальчик забитованный, боковой и верхний свет. А чувства: она, безусловно, любит того, кто ее снимает, она чиста, свежа, прекрасна. Пойдите в зал, мастер, вся публика возле этой работы. Может, вы сможете ответить на вопросы?

— Простите, Инесса...

— Анжела.

— Конечно, Анжела. На старости лет начинаешь понимать, что настоящая фотография не может быть постановкой, она естественна, она есть жизнь. Вы напрасно говорили о наборе средств, их нет. Снимок сделан влюбленным мальчиком простым аппаратом «ФЭД», они теперь только в музеях. Но была любовь. Больше ничего, так и скажите публике.

ПОСЛЕ МЕТЕЛИ

— Марья Серезиха задергушки с окошек сняла, знать-то, опять изловила своего долгоспанного у шмары. — Максим выхлопал о деревяшку изрядно поношенную шапку, снег разлетелся по избе, смочив полосатые половички. Он прошел в передний угол, сел на лавку и снял протез.

— С чего ты взял, что изловила? Можя, простирнуть сдернула занавески.

Жена Груня всегда ему возражала, Максим не сердился — согласись она, и поговорить будет не о чем. Март навалил снега, между домами с ляги наклало сугробов, что не перелезти. С последнего бурана Максима заперло дома, выбирался только в проулок, который ветер продрал до мерзлой комковатой земли, тут и высмотрел пустые Серезихины окна.

— Не накатали дорогу-то? — Груня неделями не выходила в деревню, да и зачем? Картошка в подполье, мука в сусеке в холодных сенках, сахар с осени наменяли у петропавловских казахов на овес и ячмень. Свиная тушка висела в сенках, Максим тут же на чурке рубил топором, дробя кости, осталась задняя ляжка да ребрышки. Сказал, что мясо срежет и засолит, а после повесит на жердочке под стрехой — вялить.

— Кто ее накажет? — Максим продул мундштук и заправил самкрутку. Табак уж сколько лет рубил сам, Антоха привозил базарные сигаретки, чуть не задох от них. Самосад привычней, в войну ему высылали на фронт афонский табачок, вся батарея наслаждалась. Политрук шутил: «От вашего табака фашисты в окопах чихают». Уж после узнал: табаком деревня спасалась, на санках в Петропавловск возили бабы, на базаре спрос хороший, тем и налоги платили, и облигации выкупали. У Груни вон вся крышка сундука изнутри облигациями уклеена. Максим выкамурирует: «Вот объявит товарищ Хрущев, что выкупат гумажки — отмачивать будешь». Понимал, конечно, что навечно они в сундуке, но промолчать не мог.

Еще до мартовской падеры, когда скотники на широких дровнях укатали январский снег в улице и Максим ходил по насту, не проваливаясь деревяшкой до нехорошей боли в культе, выгостился он у Артема Лавровича. Темным вечером видел в окошко, что огородами к заднему двору председательской усадьбы притащили трактором добрый стог сена. Утром пошел по следу, клочок сена подобрал: лесное, июлем дышит, хоть чай заваривай. А после обеда пошел к другу. Воевали вместе, один ногу оставил, другой руку — малой кровью это называли. Но Артюха сомустился и написал в партию. Сразу медаль получил, потом старшиной стал. После войны, как партийного, его назначили заведующим фермой, но случился падеж скота, и как раз сталинский закон о социалистическом животноводстве. И загредел бы друг на лесозаготовки, да аккурат в эти дни вызвали Артема в военкомат и повесили большой орден. Судить не стали, а с должности сам ушел, испугался, в другой раз орден может не пригодиться. Вот ему и хотел высказать Максим про председательское сено.

— Артем, что у вас в партии за порядки? Если член, то начальник, а если начальник, то жулик. Да, и не выбуривай на меня.

— Макся, ну, не все ведь жулики.

— Да уж... А с сеном что будем делать? Надо на собрание поднять Ероху, пусть вернет сено телятишкам.

— Макся, ты как дите малое. Ну, кто поднимет Ерохина? Он же председатель. Ты вот сыну своему...

Сын Антон давно живет в районе, большой начальник, это Максиму его крестный Владимир Прокопьевич сказал. В газетке чин, в прошлом году критиковал колхозное правление, крестный приходил с обидой, что и ему перепало. Максим велел выписать газетку и читал ее на вытянутых руках от названия и до знакомой фамилии на последней странице. Антон в апреле приезжал дрова пилить, летом сено косить. Да и просто в выходной мог подкатить на «бобике», забежит, бывало:

— Мама, сорви пару огурчиков да горсточку лучку защипни.

Максим у раскрытого окна, все слышит и видит. На заднем сиденье за занавеской бабочка схоронилась, ждет с нетерпением. Сын к открытой створке с улыбкой:

— Папка, я в субботу приеду, помогу картошку огреть.

— А седины куда погребешь? Ох, Антоха, узнат Настена, она тебе все хозяйство на пятаки порубит.

— Что Настена — пошумит, поплачет и простит. Папка, партия всего страшней, сильно ревнивая женщина. — Сын отцу это тихонько, шепотом.

По партийной линии у них уже была стычка. Тогда приехал Антон на поутках, в сельпо забежал. Максим сидел в горнице за столом, про-

сунув под стол деревяшку, и с тоской глядел поверх домов на бескрайнюю Кузильовку, где в старые годы на Пасху устраивали конные скачки, в которых нелепо погиб старший брат Никита, на гору, где все еще видны были колчаковские окопы, из которых солдатики стреляли в красных, а пуля попала прямо в окно и пробила филенку горничных дверей. Маленький Максим не успел напугаться, нянька Анна схватила его и толкнула матери в подпол.

Антон прошел вперед и выставил бутылку водки на середину стола. Максим подозрительно посмотрел на него:

— По какому случаю магарыч?

Антон с гордостью сказал:

— Папка, я в партию вступил.

Он видел, как трудно выпрастывал отец деревянный протез из тесно-го пространства между столом и стулом, наконец, Максим встал, глянул на бутылку, на сына:

— Антоха, вот что ненавижу, то Бог дал. — И пошел, тяжело припадая на правую ногу.

Это больше не вспоминалось, только раз Антон заговорил с отцом:

— Папка, ты воевал за советскую власть, за Сталина. А партию не любишь.

Максим не знал, что ответить. Воевал, и все воевали. Сталина жалко, выкинули дедушку из мавзолея, кому мешал? А партия... Три члена живут в околотке, и все хоть некорыстные, а начальнички, он видит, как телятишек-сеголеток везут пастухам-казахам на отгоны, а осенью сдают быков трехцентнеровых, как зерно тихонько привозят свиней кормить... Ничего тогда сыну не ответил, а теперь снова надо этот разговор заводить.

— Пропиши про это в газетке, вот тогда люди узнают, что есть правда. Мне за ногу дают восемнадцать рублей, и я живу. А Ероха на всем колхозном. Это как?

Теперь уже сын не ответил. Помолчал, поднялся:

— Пойду баню подтоплю.

Тоскливо Максиму, с Груней много не наговоришь, да она и не знает деревенских новостей. Самому бы дойти хоть до Ивана Лаврентьевича, в карты поиграть, пошпакурить, но не накатали след в суметах, скотники, видно, вокруг деревни ездят. Случись в такое время помереть — на руко-тертах понесут, а куда деваться, до весны не оставят. В прошлый раз крепко сошлись, пятеро мужиков: Киприян, Мишка Лепешин, Алеша Кру-тенький, да они с Иваном. Сразились в свару, Максим жене ничего не сказал, неловко, но в тот вечер карта ему шла, три банка забрал, запри-хохатывал, потом мимо да мимо, и проиграл пять рублей. Заикнулся было у хозяйки перехватить тройку, только Ульянка осадила: «Уймись, раз-духарился! Скажу вот Груне!». Не сказала, но Максим долго не мог в толк взять, как его занозило, не сразу понял, что продулся.

Максим не был выпивохой, дома бражка не выводилась, ну, принимал после бани бокальчик, а больше — нет, хватало. Только иногда приходил «с обходов» под хмельком, Груня не ругалась, нет у нее такой моды, только улыбалась: «Опять прихватил где-то?». Максим соглашался: «Не говори! Шел по улке, ничем-ничего, а у Прокопия Александровича компанья. Загаркали. Принял стаканок».

Антон с осени не бывал, Максим в душе казнил за язык свой, но тихонько радовался, что сын в него характером, упертый.

Тот год был шибко неловкий, хлеба не намолотили, сена не припас-

ли для скотины, а, как на притчу, ранняя зима упала. Прикинули начальники, что с таким фуражом к весне коров на веревках поднимать придется, стали выход искать. И тут наука подсуетилась: солома есть, понятно, что в таком виде она несъедобна, надо ее размягчить, дробленкой сдобрить, и будет приличный корм. В районе провели показательную закладку такой рецептуры, райком дал команду редактору подробно осветить всю технологию, чтобы распространить передовой опыт по всему району. Антон с фотографом засняли все по порядку: в силосную траншею укладывается слой соломы, поливается раствором каустической соды, далее слой силоса, слой дробленого зерна, потом снова по кругу. Вся закладка накрывается пленкой, сверху соломой и землей. Через неделю можно открывать и давать скоту. На двух страницах газеты с фотографиями напечатан передовой опыт.

Антон приехал без семьи на машине, загнал в ограду, слил воду. После бани сели за стол, Груня поставила кринку отстоявшейся бражки, в жаровне утка с крупой из русской печки, в тарелках грузди, огурцы, капуста. После первого стаканчика разыграли утицу, Максим оглодал крылышко, вытер полотенцем руки.

— Антоха, ты какую муйню в своей газетке пишешь?

— Что опять не так? — насторожился сын.

— Да все не так! Ну, ты же деревенский житель, сам сено косил, скотину кормил зимой. Ты хоть раз видел, чтобы мы корову соломой кормили? Было, что и соломой, но до тебя. А ты умодил: каустиком солому полить, и корове.

— Папка, это не я придумал, это ученые предложили, ты же знаешь, какое положение с кормами.

— Весной надо было думать! Не перегонять друг дружку, кто раньше отсеется. Молчи, и ты подхваливал: ранний сев! И куда теперь с этой соломой? Наши придурки на неделе открыли яму, ветер на деревню, едва не сдохли. Я в Омск за протезом ездил, на станции Ишим в тавалет ходил — точно такая вонь, передо мной, видно, в яму каустика набросали. Кое-как наружу вырвался, штаны на ходу застегивал. Ну, навалили в кормушки — коровы морды воротят. Правда, Антоха, на твое счастье, одна жрала по полному рту.

— Вот видишь! — обрадовался редактор. — Значит, ей попал правильный приготовленный корм.

— Нет, сын, не угадал. Она, наверно, партийная.

Груня — от греха подальше — ушла в горницу. Сын встал из-за стола, накинул шубейку и вышел. Максим видел, как он залил в машину горячую воду из бани, открыл ворота и уехал. С тех пор не бывал. Мать ходила в контору, просила Владимира Прокопьевича позвонить, приходила домой в слезах. Только Максиму ничего не говорила. Он не любил, когда кто-то вмешивался.

ЛИДА

Поздней осенью ему сообщили по телефону, что на родине умер давний его товарищ, с которым куролесили в комсомольскую молодость, да и в зрелые годы частенько встречались, отмечая радостные воспоминания полуночными застольями. Он долго болел, умирал тяжело, но, бывая в селе, Михаил не заходил в его дом: какая-то вина появилась перед человеком, вот он лежит, а ты здоровый. Но на похороны приехал, проводил

до деревенского кладбища на родине друга, да и деревни почти совсем нет, так, несколько домов. Но такова была его воля. С кладбища все заторопились в райцентровскую столовую, где уже был горячий обед, Михаил отстал от колонны машин и оглядывал окрестности. Вот тут хорошие были сенокосы — все позаросло кустарником и камышом, на тех увалах добрый хлеб молотили, теперь, похоже, не пашут. Чуть в стороне остается деревня Паленка, она вся вымерла, едва теплятся несколько усадеб. А ведь было отделение совхоза, вот тут клуб был, кино крутили... Клуб...

Молодым парнем работал он в райкоме комсомола, жил у сестры на вольных хлебах, домой приезжал редко. А уборка та, это конец шестидесятых, замечательная была, за всю осень ни одного дождя, урожай хоть и не очень богатый, но зерно сухое. Настроение у начальства отличное, вот и отпустил первый секретарь своего инструктора в родную деревню отдохнуть дня на три.

...Михаил вышел из машины и прошел пешком сотню метров. Вот тут был мостик, грязь болотную заваливали бревнами, а потом присыпали сухой землей. Большак проложили чуть в стороне, но к мостику Михаил подошел. Густой травой заросла дорога, если бы не бдительная память, ни за что не узнать.

У хлебоуборки выделялись два промежуточных финиша: обмолот хлебов и отправка зерна в госпоставки. Когда комбайнеры уже бражничали, на складах шла круглосуточная работа, зерно отвеивали, грузили в машины и отправляли на элеватор. Каждый год помогать крестьянам приезжали тысячи горожан, в основном студенты и молодой рабочий класс с фабрик местной промышленности.

После бани Михаил вытащил из сарая велосипед, подкачал колеса и поехал в сторону центра. Коров уже прибрали, деревня успокаивалась и готовилась ко сну. Не встретив никого из парней, Михаил остановил пачана:

— Где ребяташки собираются?

— Как — где? В Паленке.

— А чо в Паленке-то?

— Дак там студентки-уборочницы живут.

Через десять минут Михаил был уже у маленького сельского клуба, половину которого, отгороженную висящими на веревках суконными одеялами, занимали студентки. Ребята нехотя здоровались, лишний конкурент никого не радовал.

— Ты пойми, Миша, — Славка горячо дышал ему в лицо. — Девчонки уже две недели тут, всех поделили.

— Ладно. Откуда они?

— С Ишима. Со швейной фабрики. Студентки.

Студентами тогда называли всю молодежь, приезжающую на уборку, так повелось, и всем было понятно.

Темнело, несколько девушек стали собираться в ночную смену, Михаил со Славкой протянули от розетки провод и над умывальником подвесили лампочку. Три девчонки пришли со склада, под фонарем разматывали платки и стали разными: русая, рыжая, темленькая.

— Кто же догадался фонарь повесить? Не тот ли хлыщ? — безразлично спросила рыжая.

— Да, новенький кавалер подъехал, расстарался.

Рыжая уже забыла про фонарь и про хлыща. Славка толкнул в бок:

— Вот она свободна, но никого до себя не допускает. Попробуй.

— Ты объясни, она психованная или чересчур гордая? Тоже мне: хлыщ!

— А хрен ее знает, несколько парней подклинивали, отшила, даже на смех подняла.

— Ладно, не буду на рожон лезть.

Вторую половину зала стали готовить для танцев, хотели подмести веником, поднялась пыль, Михаил взял ведро воды, большую тряпку и смачно протер пол. Девчонкам понравилось, они стояли полукругом и устроили аплодисменты. Рыжеволосая в свеженьком халате и тюрбаном банного полотенца на голове выглянула из-за одеяла. Михаил удивился, что она умудрилась где-то помыться.

— В чью честь овации? — заинтересованно спросила она.

Михаил отжал тряпку и бросил ее в пустое ведро:

— Представьте, какая несправедливость: когда вы, усталые и запыленные, пришли со смены, толпа встретила вас почти молчанием. И это настоящих героев! А тут какой-то хлыщ элементарно драит загаженный танцевальный пол, и ему бьют в ладоши!

— Странно, но я с вами согласна, — и она скрылась за одеялом. Радиола скрипела невнятно, да никто и не слушал, рассредоточились по углам, шушукались, несколько пар удалились на улицу. Михаил остановил маленькую говорливую девчонку:

— Рыжую вашу как зовут?

— А ты пойдя, познакомься.

— Неудобно, в ночное время в дамские апартаменты. Пойди, позови ее.

— Не пойдет, — убежденно сказала Маленькая.

— Может, она нездорова? Так скажи, что я в армии служил по медицинской части, могу помочь.

— Сходи, что тебе стоит? — поддержал Сашка Связин, ее кавалер.

Маленькая нырнула, и долго по ту сторону одеял шуршали девичьи шепотки. Михаил стоял у холодной круглой печи и прикидывал: бросить все и уехать в село, или дожидаться, чем кончится эта рыжеватая история.

Девушка вышла неожиданно эффектно. Тонкое шелковое платье облегло ее фигуру, высокая прическа делала еще стройней. Михаил сделал шаг навстречу и неожиданно поклонился.

— У нас с вами как при королевских дворах. Вы пригласили погулять, так пойдете, а то мне утром в смену, спать уже не остается.

Деревня была тускло освещена, но лунный свет желанней и романтичней, Михаил предложил пойти по дороге в сторону села. Молчали.

— Куда делся ваш порыв красноречия?

— Не знаю, с чего начать. Меня зовут Михаил, лучше Миша.

— А я Лида.

— Редкое имя.

— Все молодые люди всегда так говорят.

— У вас большой опыт общения с молодыми людьми?

— Если вы, Миша, хотели меня обидеть, вам это не удалось. Я люблю читать, и об этом пишут в книгах.

— Вы окончили школу?

— Нет.

— А как попали на швейную фабрику?

Лида промолчала.

— Мне сказали, что вы работаете в райкоме комсомола?

— Да, но надо поступать учиться.

— Я тоже очень хотела учиться.

— Лида, почему вы не приняли ухаживания наших парней?

— Согласитесь, вы задаете странный вопрос, ведь задружи я с вашими парнями, вы сегодня остались бы без пары. Или вам это все равно?

— Нет. Мне нравится, что вы согласились прогуляться со мной.

— Не надо меня обманывать, вам нравится, что я до того ни с кем не гуляла, а с вами согласилась. Ведь правда?

— Лида, вы меня запутали. Да, мне нравится, что вы пошли со мной, ну, и что здесь неприличного? Если вы думаете, что завтра я буду этим гордиться и ставить себя выше моих друзей, то ошибаетесь.

— Тогда скажите, почему вы так настойчиво добивались моего внимания?

— Честно?

— Да!

— Потому что ты мне очень понравилась, сразу, еще как платочек сбросила. Я даже про хлыща не сразу заметил. Лидочка! — Он осторожно повернул ее за плечи, ощутив нехстати подвернувшуюся под руку ляпочку, и смело поцеловал в полураскрытые губы. Она взяла в ладони его лицо и посмотрела в глаза. Он еще раз крепко поцеловал ее. Лида заплакала...

Михаил хорошо помнил тот момент, и было это именно тут, на мостике. Он уже тогда заметил, что Лида плакала не от радости и счастья, а горько, страдальчески.

— Лидочка, я обидел тебя? Прости, родная, ты очень мне нравишься, я не мог удержаться.

— Мишенька, мне так счастливо никогда не будет больше. Твой поцелуй такой верный и любящий. Так не поцелует парень от нечего делать.

Да, так оно и было. Странно, но вдруг вспомнились такие слова и детали, которые лежали в дальнем углу памяти, а сейчас всплывали, желанные и родные. Они долго еще гуляли по пустынной дороге, пока Михаил вспомнил, что Лиде завтра на смену. Она сказала:

— Давай у клуба простимся просто так, чтобы никто не видел, что мы целуемся, ладно?

На другой день он приехал на Паленский склад к обеду, девчонки встретили его радостным визгом, он поочередно отстранял их от вороха пшеницы, давая отдохнуть, а сам широкими взмахами загонял под транспортер зерно, и кузов быстро наполнялся поверх бортов. Лида ничем не показала особого к нему отношения, а ему так хотелось, чтобы и девчонки, и бабы их деревни, и шофера автоколонны знали, что вот эту красивую девушку он вчера всю ночь целовал вон на том деревенском проселке. За час до пересмены он уехал, ничего не сказав, поставил паленской знакомой бабушке Фросе бутылку водки, она разрешила вымыть студенток в бане. Михаил сам натаскал воды, разжег котел, наломал свежих, хотя и запоздалых, веников, вымыл полок и пол. На складе посадил Маленькую на багажник велосипеда и привез в клуб:

— Возьми для каждой только по плавочкам и халатику чистому, в баню вас поведу.

Вечером приехал, когда уже стемнело, пришлось с отцом править нарушенную скотиной изгородь. Лида встретила его вот на этом мостике, прижалась всем тельцем, сердечко прыгает.

— Миша, ничего не говори, я полюбила тебя насовсем, я так боялась,

что может случиться, и оно так вышло. Мне говорила мама, но когда мы слушаем маму? — Она плакала, не вытирая слез.

— Лидочка, радоваться надо, а не плакать, я тоже люблю тебя, ты мне такая родная, что слов нет. Лида, выходи за меня замуж, я живу у сестры, она примет нас, а потом квартиру дадут. И работа. В бытовом обслуживании швейный цех есть. Поедем после уборки к твоим родителям, а к моим хоть завтра, они в этом селе.

Лида опять взяла в руки его лицо и глубоко посмотрела в глаза.

— Миша, ты правду говоришь, и это особенно горько. Мы никогда не можем быть мужем и женой.

— Почему?

— Мы очень разные. Я немка, лютеранка, ты православный русский. Мои родители никогда не согласятся на такой брак.

Михаил засмеялся:

— Лидочка, милая, двадцатый век на дворе, причем здесь твой Лютер и мой Христос? Они будут против нашей любви? Да я любого ортодокса сумею убедить, что любовь угодна всякой вере!

— И все равно мы разные. Ты умный парень, будешь учиться, станешь большим человеком, а я простая швея.

— И что? Вот скажи, у министра обороны жена кто? Генерал? Простая женщина. И ты у меня будешь хорошей хозяйкой в доме.

Лида отошла от него на полшага и тихо сказала:

— Миша, я не девушка от Володьки, это мой парень, он сейчас плавает по Иртышу от Омского пароходства.

— Лида!

— Ты должен жениться на девушке, чтобы никто, кроме тебя, не прикасался к ней. Я уже не могу быть твоей женой.

— Лида, это такой бред, средневековье!

— Совсем нет. Я всю жизнь прожила в такой семье, мама не девушкой досталась отцу. Они родили троих детей, но отец постоянно упрекал и даже бил маму. Это я его слова повторила, что никто не должен прикасаться к жене, кроме тебя.

Лида уже взяла себя в руки и говорила спокойно и убежденно, зато Михаила било, как в лихорадке, он не мог ничего возразить на несложные, но такие непреодолимые аргументы девушки...

...Михаил вернулся к машине. Что же было потом? Два вечера он не приезжал. Потом ему сказали, что все девчонки уговаривали ее согласиться, она плакала, но отказывалась. Потом им дали расчет и сказали, что утренним автобусом отправят в Ишим. Они с ребятами решили устроить прощальный ужин. Михаил объехал все магазины райцентра и в одном увидел вино «Лидия». Купил целый портфель и привез в деревню. Когда стол был уже накрыт, выставил бутылки «Лидия». Все были поражены. Лида отнеслась к этому спокойно и почти равнодушно.

Видно, так было задумано, что через пару часов они остались в клубе одни, молодежь шумела где-то далеко в улице.

— Спасибо тебе за вино, милый, это так приятно. Никогда больше я этого не почувствую.

Михаил обнял ее и тихонько положил на кровать, целуя и пытаясь расстегнуть блузку.

— Мишенька, блузка на кнопках, а не на пуговичках. Я тоже очень хочу быть с тобой, но это не случится. Понимаешь, я слишком сильно тебя люблю.

Они вышли на улицу, сошлись с основной компанией, и никто не верил, что ничего не произошло...

Михаил вдруг вспомнил: он же потом ездил к Лиде в Ишим! Та самая Маленькая дала ему адрес: сразу за автовокзалом, четвертый домик справа, а фамилия Брэм. Знакомая фамилия, какой-то ученый справочник животного мира составил, кажется. Он быстро нашел маленький белый домик с плетеным заборчиком, на лай собачки вышла женщина, очень похожая на дочь. Михаил поздоровался и спросил Лиду. Женщина ответила, что она уехала в Омск.

— Простите, а вы Миша?

— Да.

— Лида просила передать, что все правда, вы понимаете, о чем. И еще просила ее не искать.

Михаил выехал на большак и на тихой скорости проехал по тому месту, где они гуляли с Лидой. Какая умная и проницательная девчонка! Какая красавица! И как во многом она оказалась права.

